

УДК 316.2

**ПАВЕЛ КУТУЕВ,**

*доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”*

**АЛЕКСЕЙ ЯКУБИН,**

*кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры социологии Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”*

**ДАРЬЯ МАКАРЕНКО,**

*старший преподаватель кафедры социологии Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”*

**ДМИТРИЙ ГЕРЧАНОВСКИЙ,**

*аспирант кафедры социологии Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”*

## **От евроцентричного модерна до плюралистических модернов: эволюция исторической социологии Ш.Эйзенштадта**

### *Аннотация*

*Авторы статьи сосредоточили внимание на экспликации и оценке продуктивности изменения стиля социологического дискурса о модерне и его трансформациях в теоретизирование о многочисленных модернах. В этом контексте осуществляется реконструкция интеллектуальной эволюции израильского социолога Ш.Эйзенштадта, как парадигмального примера и движущей силы та-*

ких изменений в исторической социологии модерна / модернов и модернизации. В статье отслеживается развитие идеи многочисленных модернов и попытки ее сторонников защитить концепцию модерна при одновременном преодолении евроцентризма. На основе толкования происхождения публичной сферы и демократии выделяются два направления в среде поборников идеи многочисленных модернов: одна группа исследователей сохраняет евроцентристское истолкование генеалогии публичной сферы и демократии, тогда как другая рассматривает эти феномены как не укорененные географически. В итоге вторая группа теоретиков модерна приближается к позиции востокоцентрически ориентированных исторических социологов, которые вдохновляются идеями А.Г.Франка, Бин Вонга, К.Померенца, Дж.Арриги.

**Ключевые слова:** формирование модерна, модерн, многочисленные модерны, культурная программа модерна, публичная сфера, демократия, евроцентризм, востокоцентризм

*Государственная система, которую создали европейцы, существовала не всегда. Она и не будет всегда существовать. Трудно написать ей некролог. С одной стороны, мы видим, что жизнь граждан в Европе успокаивается, создаются более или менее представительские политические институты. И то и другое суть побочные продукты формирования государств, движимых задачей наращивать военную мощь. С другой стороны, мы видим, что усиливается разрушительная сила войны, государства все больше проникают в частную жизнь своих граждан, создаются инструменты неслыханного классового контроля. Разрушите государство — и получите Ливан. Укрепите государство — и получите Корею. Позитивный результат не представляется возможным, если только на смену национальному государству не придут другие формы государственности. Единственное и реальное, что можно сделать, — это отвлечь огромную власть национальных государств от занятий войной в сторону укрепления правосудия, личной безопасности и демократии. Моя работа не указывает, как реализовать эту гигантскую задачу. Я лишь пытался показать, почему нельзя с этой задачей медлить.*

Ч.Тилли

*Никогда возможности для благого мира для человечества не были большими. В то же время пропасть между человеческим потенциалом и условиями существования человечества, по-видимому, никогда не была более широкой. Наш век также является эпохой выразительных крайностей. Факторами, стоящими между потенциальным и актуальным, являются экономика разрушения окружающей среды и социальное исключение каждого, не приносящего прибыль, экономика, социология и психология неравенства, силовая политика разделов и войны. Конца всему этому не видно. Тем временем формируется видовое сознание не только в отношении вызовов окружающей среды, но и в отношении прав человека и человеческого потенциала. Осознание общности всего человечества обеспечивает максимально широкий фундамент для критики и оппозиции доминирующим исключениям и неравенствам.*

Г.Терборн

Восприятие идеи и теории модернизации тесно связано с траекторией как отдельных национальных государств, так и (глобальной) мир-системы в целом. Тенденции последнего десятилетия противоречивы — с одной стороны, наблюдаются всплески “борьбы за модерн” в странах периферии (Арабская весна, революционные события 2013–2014 годов в Украине). С другой стороны, становится очевидным закат оптимизма в отношении модерна и модернизации, на смену которому приходят пессимизм и нативистские реакции многих стран на разных уровнях мир-системы. На просторах постленинских социумов модернизация — то есть достижение идеально-типичного благого социума, который в публичном и медийном дискурсах зачастую даже не отождествляется с вестернизацией, а просто редуцируется к политике евроинтеграции — провозглашалась и провозглашается целью социетального развития многими политическими силами (о восприятии евроинтеграции как модернизации на примере образовательных реформ в Греции см.: [Gropas, Triandafyllidou, Kouki, 2013: p. 29–52]). Вместе с тем в последние годы произошел ряд интеллектуальных и политических событий, заостряющих вопрос — на уровнях теоретической логики и прагматики действия — чем является модерн (или модерны) и насколько правомерно отождествление европейского опыта с явлением и продвижением модерна. К этим ключевым событиям мы можем отнести публикацию таких *magna opera*, как первый том трехтомной биографии Сталина американского историка Стивена Коткина и книгу Тома Пикетти “Капитал в XXI веке”. На уровне социального поведения грандиозную символичность приобрел *Brexit* — референдум о целесообразности сохранения членства Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Европейском Союзе, результатом которого стала победа голосов за выход из ЕС.

Наконец (само)уверенность социологов-теоретиков 1980–1990-х годов — к примеру, Рихарда Мюнха, который “еврооптимистически” воссоздавал Веберов стиль дискурса о Западе как носителя ценностей активизма, рационализма, индивидуализма и автономии — в очередной раз теряет свою методологическую убедительность. “Нынешний западный капитализм как высшая стадия модерна” утрачивает свою гегемонию — как на уровне идеалов и идей (что обусловлено теоретическими прорывами материалистически и антикапиталистически ориентированной исторической макросоциологии), так и на уровне социально-экономических практик (подъем Азии служит ярким и действенным аргументом против одномерного евроцентризма).

Монологически-оптимистическая позиция в отношении современного социального порядка плюрализируется, следовательно, усиливается потребность в разработке наборов аналитических инструментов, которые смогут описать и постичь эти тектонические сломы модерна. Важно также обоснование легитимности и логичности теоретизирования в терминах современных и нынешних социумов.

Итак, целью статьи является экспликация исследовательской программы многочисленных модернов и оценка ее адекватности задачам концептуализации нынешних общественных констелляций.

Ключевой интеллектуальной фигурой для постижения истоков и траектории развития исследовательской программы многочисленных модернов считается израильский социолог Шмуэль Эйзенштадт (1923–2010), чье имя неразрывно связано с теорией модернизации и ее трансформациями.

Эйзенштадт был в числе пионеров этого теоретического движения, сформировавшегося в послевоенные годы; он также занимал неформальную позицию одного из наиболее влиятельных глашатаев социологического анализа общества в категориях “традиция *versus* модерн”. В 1960-х годах израильский ученый одним из первых начал переформулировать и модифицировать оптимистические основания первой фазы исследовательской программы модернизации, предложив параллельно с С.Хантингтоном и Б.Муром ее более пессимистичную версию, которая воплотилась во второй фазе этой школы. В начале XXI века Эйзенштадт, пожалуй, был единственным ученым среди основателей исследовательской программы модернизации, сумевшим подвергнуть свои взгляды не только ревизии, но и реконструкции, заложив основы новой школы — школы многочисленных модернов.

Но несмотря на глобальный масштаб его интеллектуального влияния, динамика, траектория и факторы трансформации Эйзенштадтова мышления от теоретика единой модернизации до автора концепции многочисленных модернов остаются неисследованными в украинском — да и в мировом — обществоведческом сообществе. В постсоветском контексте использование идей Эйзенштадта нередко сводится к ритуальному цитированию его определения модернизации с первых нескольких страниц книги “Модернизация: протест и изменение” (а этот труд увидел свет в 1966 году!), тогда как весь комплекс открытий этого автора остается без адекватного масштаба его фигуры внимания.

В итоге идеи парадигмы модернизации зачастую утрачивают статус конструкторов разума / логоса и превращаются в коллективные представления — порой даже группового бессознательного — которые выполняют функцию не столько познания социальной реальности, сколько ритуала, интегрирующего своих сторонников вокруг общего предмета культа и обеспечивающего интеграцию группы вокруг своих предводителей [Кутуев, 2007: с. 106–127]. О популярности идей Эйзенштадта сегодня свидетельствует факт постоянного обращения к его трудам других социологов для применения их к трансформациям современных социумов (см., в частности: [Mota, Delanty, 2015: р. 39–57]). То есть экспликация и утилизация релевантных элементов его наследия актуализируется (под релевантностью следует понимать как универсальную применимость, учитывая его вклад в общую теорию модерна / модернов, так и контекстуальную релевантность в отношении борьбы за модерн на постленинском пространстве).

Таким образом, задачами данного текста являются идентификация тех элементов мысли Эйзенштадта, которые остаются релевантными современному теоретизированию о формировании модерна, о вариациях модерна, а также о развитии публичной сферы и ее импликации для политической динамики, которая, в свою очередь, привела к формированию модерна и демократии как одной из его политических форм.

Общеизвестно, что постпозитивистская методология науки утверждает следующее: развитие научных теорий подчиняется не только логике роста знания, но и социологии динамики академического сообщества с присущими ему правилами трансляции концепций, методологии и методов исследования, а также основополагающих ценностей. Образцом такого социологического изучения динамики социологических идей (как ни странно, но это редчайший жанр в нынешней социологии!) служит исследование Камика о

процедурах отбора Талкотом Парсонсом классиков для канона, которое он сконструировал в своей “Структуре социального действия” (см.: [Alexander, Sciortino, 1996: p. 154–171; Camic, 1992: p. 421–445; Camic, 1996: p. 172–186; Camic, 1997: p. 1–10; Gould, 1995: p. 85–109]).

Начнем с реконструкции персональной и интеллектуальной истории Эйзенштадта, чтобы идентифицировать это влияние на его теоретизирование. (Такой подход уже применялся одним из авторов статьи для определения взаимовлияния идеологии и академического дискурса в исследовательской программе Андре Гундера Франка [Кутуев, 2003]).

По свидетельству выдающегося американского социолога Эдварда Шилза, Эйзенштадт, который родился в 1923 году в Польше, а в 1930-е переехал со своей мамой в Иерусалим, где он и получил образование (руководителем Эйзенштадта в докторантуре был Мартин Бубер). В 1947–1948 годах Эйзенштадт посещал курс по современной социологической теории, который Шилз читал в Лондонской школе экономики, и уже тогда Эйзенштадт поражал своего ментора глубинным знанием Веберовых текстов и других первоисточников, которые он читал на английском, немецком, французском и польском языках. Эйзенштадт также был одним из первых читателей эссе “Ценности, мотивы и структура действия”, подготовленного Э.Шилзом и Т.Парсонсом [Comparative Social Dynamics, 1985: p. 2–3]. Наблюдения Шилза позволяют очертить интеллектуальные источники, из которых молодой израильский ученый черпал творческие импульсы, а именно — идеи Вебера и теория действия и социальных систем (то есть Парсонс и сам Шилз). Создание государства Израиль и приезд эмигрантов в Палестину из разных регионов мира, где проживала еврейская диаспора, остро поставили перед учеными задачу по подготовке интеллектуальной почвы для формирования рациональных бюрократических институтов нового государства, развития нации (которая пошла путем активного создания традиций — *invention of tradition* — как метко определил эту стратегию еще один ветеран общественных наук Эрик Гоббсбаум) и интеграции гетерогенных групп, образуемых лицами, прибывшими в общество. В сочетании с очерченной выше теоретической ориентацией Эйзенштадта эта практическая проблематика обусловила его академические интересы, а именно проблемы власти, доверия и значения / смысла (так называется сборник статей Эйзенштадта [Eisenstadt, 1995]) в контексте выраженности контуров современного общества и путей его достижения. Рассматривая социологическую теорию сквозь призму проблем, касающихся израильского общества, Эйзенштадт в то же время никогда не сводил теоретизирование сугубо к формулировке концепций среднего уровня. Его исследованиям всегда была присуща как сравнительно-историческая перспектива, так и высокая степень абстрактности и генерализации. Иными словами, объединяя влияния Вебера и Парсонса, израильский социолог создавал теоретически нагруженную историческую социологию. Специфический исследовательский стиль Эйзенштадта прослеживается в его монументальном трактате “Политические системы империй” [Eisenstadt, 1963], получившем международное признание и заложившем основы Эйзенштадтовой репутации как социолога-теоретика с острым чувством истории, фантастической эрудицией и способностью к междисциплинарному поиску. Шилз даже считал оправданным сравнить масштаб Эйзенштадта как ученого с Парсонсовой значимостью, в частности учитывая непревзойденную продуктивность этих ученых (в тече-

ние 1948–1983 годов израильский социолог стал автором 318 объемных публикаций). Вместе с тем Шилз справедливо замечал, что конструкции израильского социолога не являются чисто дедуктивными, поскольку используют результаты эмпирических исследований, причем исследований, проводимых не только в дисциплинарных рамках социологии.

Следует также отметить, что попытка Эйзенштадта инкорпорировать, reinterpretировать и взять за основу идеи других мыслителей не является свидетельством несамостоятельности и “консервативности” его дискурса, то есть черт, потенциальным следствием которых может быть интеллектуальная трансформация в направлении к Лакатосовой дегенеративной исследовательской программе. В течение 1970-х годов исследовательская программа модернизации переживала кризис и стала объектом критического наступления со стороны обществоведов левой ориентации. Общеизвестно, что интеллектуальный и политический климат 1960-х годов в западных — преимущественно американских — институтах, занимавшихся разработкой теории и политики модернизации, в значительной мере формировался под влиянием событий во Вьетнаме. Джон Кеннеди выиграл президентские выборы 1960 года во многом благодаря своей критике пассивности политики “массированного ответного удара”, которую проповедовала республиканская администрация Дуайта Эйзенхауэра и президентский кандидат от республиканской партии Ричард Никсон. Эскалация насилия в Индокитае и потенциальная угроза того, что Вьетнам последует примеру Китая и Кубы, сделали бы теперь администрацию Кеннеди уязвимой для обвинений в неспособности остановить “коммунистическое” наступление в третьем мире. Лейтмотивом стратегического мышления академических и политических кругов, приближенных к администрации, стал призыв Уолта Уитмена Ростоу добиться успеха во Вьетнаме, поскольку традиционная доктрина сдерживания утратила свою привлекательность в свете факта диффузии идей и практик ленинизма в третий мир. Ожидалось, что Вьетнам станет самым слабым звеном ленинской “мир-империи”, а ключевую роль в смене мирового *status quo* отводили, по словам тогдашнего госсекретаря Дина Раска, объединенным усилиям по поощрению модернизации и антикоммунизма. Но война во Вьетнаме стала лишь одним элементом общей турбулентной ситуации мира 1960-х годов, которая отнюдь не вписывалась в обнадеживающую картину, предлагаемую представителями первой фазы исследовательской программы модернизации. Кризис и нестабильность охватили все три мира, достигнув кульминации в событиях 1968 года, охарактеризованных Иммануилом Валлерстайном и его последователями как мировая революция. В таких обстоятельствах “тактическое” признание существования преград на пути к модерну как исключительно временных не могло восстановить авторитет и доверие к модернизационному дискурсу. Чтобы продолжить свое функционирование в качестве исследовательской программы, а не только идеологического конструкта, задачей которого является не столько объяснение и интерпретация социальной реальности, сколько придание ей смысла, концепция модернизации требовала существенной ревизии.

В течение 1970-х годов Эйзенштадт продемонстрировал интеллектуальную преданность ядру исследовательской программы модернизации, но это свидетельствовало не столько о его консерватизме, сколько о несклонности к конъюнктурным колебаниям, обусловленным преимущественно изменения-

ми идеологического климата, а не обогащением научного знания. В то же время Эйзенштадт стал одним из создателей второй фазы исследовательской программы модернизации, фазы, которая акцентировала дисфункциональность и конфликтность данного процесса. Ярким примером опасных последствий идеологически-интеллектуальной конъюнктурности служит инвектива в адрес Эйзенштадта одного из участников конференции о вкладе наиболее влиятельных мэтров исторической социологии, которая состоялась в 1979 году в городе Кембридж, штат Массачусетс. Идеи Эйзенштадта оценивались так: “Когда мы читаем работы Эйзенштадта сегодня, мы не можем избавиться от тягостного ощущения, что они уже устарели. ... Выглядит так, будто его жаргон — словарь и грамматика структурного функционализма — уже не срабатывает. ... В трактовке Эйзенштадтом революции нет кровопролития; классового конфликта — нет страданий; великих идей — нет мыслителей. История для Эйзенштадта расположена на уровне абстракций; события, люди, мотивации рассматриваются издалека, сквозь концептуальные окна “дифференцированных институтов”, “выкристаллизованных ролей” или “культурных ориентаций”. Современный читатель, не знакомый с его языком и не осознающий проблем, к которым он обращается, не может не ощутить дискомфорта, читая работы Эйзенштадта” [Hamilton, 1984: p. 124].

В начале 1990-х годов тональность высказываний о Парсонсе меняется еще радикальнее — по мнению комментаторов, его “Структура социального действия” опередила свое время как минимум на 60 лет [Gould, 1995: p. 85–109]. Казалось, что доминировавшие в 1970-х годах в западном социологическом сообществе исследовательские программы, идеологически ориентированные на левую традицию (а точнее, на зависимость и развитие недоразвития и мир-системный анализ [Кутуев, 2005: с. 188–314]), будут сохранять свою интеллектуальную гегемонию в течение длительного времени. Но уже в 1978 году вышла программная статья будущего основателя неофункционализма Дж.Александера “Формальный и содержательный волонтаризм в наследии Т.Парсонса: Теоретическая и идеологическая реинтерпретация” [Alexander, 1978: p. 177–198], провозгласившая появление нового теоретического движения, целью которого были ревитализация и реконструкция Парсонсова наследия [Кутуев, 1995: с. 68–87]. Факт возрождения Парсонсова дискурса был подтвержден широким кругом влиятельных теоретиков; так, Ю.Хабермасу принадлежит парадигматическое высказывание о том, что ни одна социальная теория не может восприниматься всерьез, если она не определила своего отношения к Парсонсу.

Парадоксально, но именно последовательность Эйзенштадтова мышления поспособствовала тому, что после периода популярности леворадикального уклона 1970-х годов дискурс израильского ученого с середины 1980-х годов становится все более созвучным с идеологическими и идейными императивами социологического теоретизирования конца XX века, подчеркивающим центральность классиков, многомерность социологического дискурса и неизбежность синтеза в процессе теоретического строительства. Вместе с тем эта последовательность мышления не превращает Эйзенштадта в ортодоксального парсонсианца, равно как и марксистская ориентация, к примеру, М.Буравого и И.Валлерстайна не делает их выводы ни ортодоксально марксистскими, ни даже схожими друг с другом. Также необходимо учитывать тот факт, что степень влияния на израильского ученого каждого

из двух основных, на его взгляд, классиков — Вебера и Парсонса — со временем менялась, и с середины 1960-х годов приоритетным становится Вебер.

Формулируя основания собственной сравнительно-исторической социологии модернизации, Эйзенштадт уже в 1970-х задавался вопросом: “Можно ли систематически объяснить разнообразие структурных форм, сопровождающих процесс модернизации, или же исследователи должны принять формулу отдельных историков о полной уникальности и несоизмеримости любой ситуации?” [Eisenstadt, 1973: p. 31]. Для самого израильского ученого ответ был в пользу систематического исследования исторических вариаций, поскольку обществам присущи реальные системные качества. Полемизируя с еще одним веберянцем — Р.Бендиксом, Эйзенштадт упрекал своего оппонента в концептуализации социальных изменений как лишенных каких бы то ни было универсальных системных, символических или структурных характеристик: согласно Бендиксу, они, собственно, являются специфическими историческими процессами, происходящими только единожды. При таком подходе социум нельзя постигать иначе, чем в виде конгломерата групп и единиц, постоянно конкурирующих между собой, тогда как, по убеждению израильского ученого, социальные изменения являются функцией системных качеств исторических конфигураций. Эйзенштадт также выступал как против эволюционизма (в частности Парсонсовой попытки возродить эволюционизм Спенсера в “Эволюционных универсалиях”), так и против историцизма, то есть релятивизации истории и отрицания существования регулярностей исторического процесса. Для него формой разрыва последовательности социального развития являются революции, поэтому конфигурации современного общества не могут быть эволюционным продолжением образов, присущих традиционному социуму.

Признавая, в духе Парсонса, что политическая система является базовой частью организации любого социума, Эйзенштадт вместе с тем подчеркивает, что уровень институционализации политической деятельности в разных обществах радикально отличается: политические функции могут выполнять не только специализированные органы — законодательные, судебные, партийные или бюрократические — но и, например, такая организация, основанная на принципе предписания, как семья.

Эйзенштадт противопоставляет типы социальных изменений, свойственных традиционному обществу (в рамках традиционного социума изменения являются отдельными, совмещенными и исключительными), революционным изменениям. Революции являются признаком модерна, в свою очередь, модерн является продуктом революций. Революции трансформируют фундаментальные основы социального и культурного порядка, реструктурируя взаимодействие центра и периферии, порождая новый тип социетальной трансформации и новую цивилизацию: цивилизацию модерна. Следовательно, модернизация является революционным процессом подрыва и смены существующих институтов. Этот процесс связан с определенными структурными характеристиками: структурной дифференциацией, социальной мобилизацией, а также масштабной, унифицированной и централизованной институциональной системой координат. Вместе с тем структурные характеристики просто необходимы, но они не являются достаточными условиями успешной модернизации. Другим основополагающим фактором победы модернизации, по Эйзенштадту, оказывается установление гибких и одновре-

менно эффективных символических и организационных центров, способных регулировать изменения [Eisenstadt, 1965: p. 660]. Таким образом, в рамках Эйзенштадтова мышления модернизация определяется как движение в направлении к высокодифференцированному и специализированному обществу, в котором произошло размежевание разных ролей индивида (например, родственных и профессиональных), экономическая сфера которого базируется на индустриальном производстве (последнее характеризуется широким применением Ньютоновой науки), а политическая сфера отличается усилением территориального размаха и интенсификация власти центральных, легальных, административных и политических агентств общества. Важным аспектом модернизации политической сферы является распространение потенциальной власти на более широкие группы и, в конечном счете, на всех взрослых граждан, которые инкорпорируются в консенсусный моральный порядок. Модерные общества также в том или ином смысле являются демократическими, или по крайней мере популистскими, что заставляет правителей обращаться к тем, кем правят, за поддержкой (то есть поддержка уже не опирается на принцип предписания), прибегая к таким механизмам, как выборы, плебисциты или их суррогаты (параллельно распространяются такие идеи, как равенство, свобода и участие). В сфере культуры модерному обществу свойственны постоянный рост дифференциации основных культурных и ценностных систем (религии, философии, науки), распространение образованности и светского образования. Параллельно развиваются средства массовой коммуникации и формируется новое мировоззрение с упором на прогресс, на счастье, на спонтанное проявление чувств, на индивидуальность как моральную ценность, на достоинство индивида и на эффективность, а также на настоящее как на значимое темпоральное измерение человеческого существования [Eisenstadt, 1966: p. 1–19].

Почти полвека спустя в схожем ключе ответ на тему социального порядка, развития и модерна предложили неонституционалисты Дуглас Норт, Джон Уоллис, Бари Вайнгаст в книге “Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества” (2009) [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011]. По их мнению, человечество в целом имеет две главных траектории социального порядка (некие веберовские идеальные типы) для формирования доступа к ресурсам и контролю над ними и над поведением других, которые не обязательно сменяют друг друга, а могут существовать параллельно, а именно траектории ограниченного и открытого доступа. Первый из них имеет следующие предельные характеристики — (1) господствующие группы создают правила для других, а не для себя (“друзьям все, врагам — закон”); (2) существующие организации большинства типов имеют высокоперсонализированный характер и исчезают со смертью их создателей; (3) институты насилия и принуждения (армия, полиция) распределены между группами влияния господствующих групп. Но хотя и в условиях этого социального порядка возможно определенное продвижение, модернизация связана скорее с порядком открытого доступа. То есть модерн и запуск “двигателя развития” эти авторы ассоциируют с тем, что (1) правящие группы устанавливают правила игры (законы, неформальные практики) сначала для себя и потом они распространяются на остальных (они должны уметь договариваться о сосуществовании друг с другом, а не сразу объявлять войну за ресурсы); (2) существующие организации большинства типов хоть и

создаются отдельными персонами, но сохраняются и после смерти их создателей; 3) господствующие группы коллективно контролируют институты насилия и принуждения. Переход к такому “двигателю развития” сложен и требует совпадения ряда культурных, социальных, политических, экономических и технологических условий, усиления роли публичного над частным, значительной деперсонализации институтов (как писала в 40-е годы XX века Анна Аренд, с точки зрения эмигранта в США “руководят законы, а не люди, как в Германии”); он также требует много “демографического времени” (постепенное изменение нескольких поколений с их привычками, поведенческими моделями). Вот почему отсутствие развития и отсталость — это, пожалуй, и есть повседневность нашего мира. То есть модерн связан с прежними траекториями развития, изменить которые сверхсложно (здесь работает гипотетический эффект “*path dependence*”), потому и источники таких изменений социального порядка не просматриваются и указанный переход кажется схоластически непонятным современникам и маркируется как “чудо” [Якубин, 2014: с. 153–175]. В итоге пути модерна часто остаются скрытыми и в лучшем случае индивидуально ретроспективными.

В противовес его многочисленным современникам, которые, создав первую, оптимистическую, фазу исследовательской программы модернизации, остановились в своем интеллектуальном развитии, Эйзенштадту всегда было свойственно реалистичное восприятие процесса формирования модерна, процесса, порождающего протест и способного к разрушению. Успешность или неуспешность модернизации определяется взаимодействием между господствующей системой ценностей и политическими институтами; местом политической системы в системе стратификации; уровнем внутренней однородности основных социальных групп и слоев обществ, переживающих модернизацию. Вместе с тем мышление Эйзенштадта 1960–1970-х годов оставалось в плену европоцентризма: он утверждал, что хронологически первые современные режимы, которые, к тому же, характеризовались последовательностью (с важным уточнением, что эта последовательность не была абсолютной) и плюралистичностью, постепенно развились — начиная с XVI–XVII веков — в Западной Европе, Англии, Нидерландах, странах Скандинавии, США и англоязычных доминионах. Более того, страны-пионеры отличались тем, что процесс модернизации начинался параллельно в центре (Эйзенштадтово постижение центра следовало в русле Шилзовых рассуждений [Shils, 1975]) и в более широких социальных слоях. Эйзенштадт усматривает в Западной Европе традицию автономного культурного, социального и политического порядка — традицию, давшую сильнейший эндогенный импульс модернизации.

Израильский ученый расценивал протестантизм как один из самых важных факторов формирования модерна в Европе, в то же время понимая непрямую природу его влияния: “Сначала Реформация не была “модернизационным” движением; ее цель — установление более чистого “средневекового” социополитического религиозного порядка. Лишь тогда, когда этот начальный социорелигиозный порыв (с попыткой установить “тотальное” ограничение политической и экономической сфер. — П.К.) ослаб, протестантизм стал источником импульсов в направлении модерна” [Eisenstadt, 1965: р. 671]. В итоге протестантизм повлиял не только на ориентации своих адептов, он также сказался на центральной политической сфере: инкорпорация

протестантских ценностей и символов создала почву для усиления ее автономии, а также для введения новых обязанностей и более гибких политических институтов. Большинство протестантских групп развили открытость в отношении более широкой социальной структуры — открытость, коренящуюся в ориентации на активизм в мире и существовавшую автономно от центров политической власти (церковной и монархической) и не сводившуюся к сугубо экономической сфере, но постепенно выдвигавшую требования более широкого политического участия и новой политической системы координат. Вместе с тем Эйзенштадт не интерпретирует роль протестантизма в становлении модерна как *Deus ex machine*, поскольку учитывает действие таких факторов, как открытость и гибкость существующих культурных и политических центров, а также начальную реакцию более широких социальных слоев на религиозные инновации. В тех случаях, когда ответ на религиозные инновации был ограничительным, трансформативный потенциал протестантизма не раскрылся. Следовательно, влияние протестантизма продуцировало весьма гетерогенные следствия в зависимости от уровня структурной гибкости. Так, лютеранство в немецких княжествах имело ограничительный эффект, поскольку действующая политическая система координат не способствовала развитию ни национального сообщества, ни более автономных и гибких ориентаций в более широких социальных кругах. В то же время в Скандинавских странах такая же религиозная ориентация, среда которой была менее автократической благодаря существованию традиции репрезентативных сословных институтов, хоть и не заблокировала развитие абсолютизма, однако сделала возможным дальнейшее движение этих государств в направлении к плюрализму. Кальвинизм также имел противоречивые последствия: к примеру, в Пруссии интернализация этой религиозной доктрины автократическими Гогенцоллернами не способствовала развитию плюралистических институтов, несмотря на позитивное влияние на формирование более активистских коллективных целей. Заслуживает внимания тот факт, что современные российские ученые, принадлежащие к кругу клиодинамиков, — А.Коротаев, А.Малков и А.Халтурина — высказываются в поддержку позитивной связи между протестантизмом и формированием модерна, поскольку протестантизм поощрял распространение письменности, которая была необходима для выполнения своей религиозной обязанности протестантом, а именно регулярного чтения Священного Писания, тогда как средневековый католицизм известен своим запретом на изучение Писания мирянами, особенно из-за переводов Библии [Коротаев, Малков, Халтурина, 2007: с. 95–100].

Несколько в ином ключе тему религии в форме священного и модерна очертил Рене Жирар (1972). Для него проблема становления модерна и его функционирования является своеобразным “слепым пятном” для повседневного и даже для оснащенного научной обществоведческой оптикой восприятия [Жирар, 2010]. И это не случайно. Его истоки и функционирование — всегда окутанные своеобразным “туманом” — кажутся автоматическими и само собой разумеющимися до тех пор, пока этот автоматизм функционирования не нарушается и механизмы его поддержки уже не могут функционировать как прежде. И именно такое нарушение оголяет каркас, обнажая то, как все устроено, но одновременно и разрушает его. Разрушает обычный устоявшийся повседневный порядок вещей, а с этим приходит насилие, кровопролитие, убийства, месть. Собственно, чтобы остановить этот

“грязный вирус насилия”, постоянный цикл мщения, который не закончится без внешнего вмешательства — “очищения”, и должен произойти фокус забвения (эффект тумана) того, как все устроено — сначала в форме появления священного (табуированного), назначения главной жертвы, “козла отпущения”, который и совершил все это насилие, что снимает с людей, частных к насилию, их вину (“грязь”), и уже на основе этого появляются основания для модерна, который автор связывает с возникновением деперсонализированной судебной системы — как в Европе, так и в других частях мира. Должны появиться разветвленные системы установления справедливости на принципах правил запрета и остановки механизмов личной или клановой мести, уходящие своими корнями во времена появления священного. То есть современными становятся любые общества, где возникает судебная ветвь власти. Таким образом, именно набор правил игры — институты, связанные с урегулированием вопроса координации и поддержания порядка, — становятся основой для появления модернов или модерна.

В начале 1960-х годов Эйзенштадт одним из первых представителей исследовательской программы модернизации осознал, что оптимизм ее первой фазы оказался неоправданным интеллектуально и политически. Не отказываясь от изложенной в работе [Кутуев, 2005: с. 99–147] трактовки С.Хантингтона как парадигматического представителя второй фазы, сфокусированной не только на модернизации / развитии, но и на политическом упадке, следует отметить, что вклад Эйзенштадта в развитие концепций модернизационного дискурса сделал возможной ревизию положений этой школы и в итоге остановил процесс превращения теории модернизации в дегенеративную исследовательскую программу. (Эссе Эйзенштадта “Сломы модернизации”, написанное в 1962–1963 годах, было опубликовано в 1965 году; работы Хантингтона о политическом упадке стали появляться после 1965 года.)

Эйзенштадт справедливо замечал, что разнообразные социально-демографические и структурные индексы модернизации, которыми так восхищались его оптимистически настроенные коллеги (самым ярким и влиятельным примером служит трактат Д.Лернера “Прощание с традиционным обществом”), означают лишь ослабление и упадок традиционного общества и не гарантируют возникновения жизнеспособного современного социума. Иными словами, “прощание с традиционным обществом” продуцирует ситуацию неопределенности в плане возможных направлений развития. Согласно Эйзенштадту, открытость и гибкость современного общества зависит не от полной эрозии партикуляристских связей, а от их структурного расположения относительно критериев универсальности и достижения, а также от степени влияния этих критериев на “разнообразные взаимосвязанные сферы и механизмы между разными группами, слоями и институциональными сферами, на регулирование доступа к ним, на уровень мобильности в обществе и на возможность длительной кристаллизации новых единиц, выходящих за пределы существующей ситуации и баланса сил” [Eisenstadt, 1966: р. 153]. Отсюда логически вытекает, что успешная модернизация зависит не столько от структурных факторов, сколько от культурной дифференциации, создающей общую систему координат для общества. Те общества, которые не смогли развить институциональную инфраструктуру, способную адекватно реагировать на вызовы социально-демографических и структурных изменений, связанных с модернизацией, страдают от сломов модерни-

зации, то есть переориентируются на менее дифференцированные и менее гибкие институты (особенно в сфере политики).

Эйзенштадт одним из первых социологов отбросил жесткую дихотомию “традиция — модерн”, указывая на факт модернизации Англии и Японии, которая произошла под эгидой традиционных символов и традиционных элит, а также предлагая рассматривать модерн как феномен, создающий новую “великую традицию” [Eisenstadt, 1973: p. 202–212]. Ревитализация израильским теоретиком Веберовой концепции патримониализма и создание теории неопатримониализма вооружили исследователей постленинских обществ пригодным аналитическим инструментарием, что позволяет отказаться от гармонично-прогрессистского эволюционизма, который *a priori* определяет любые процессы в этих социумах как модернизацию и делает демодернизацию немислимой (среди отечественных ученых этими категориями активно и плодотворно пользуется А.Фисун [Фисун, 2006]). Эйзенштадт также всегда понимал, что феномен модерна обуславливает не гомогенность, а гетерогенность. Кроме того, раньше считалось, что израильский социолог в 1960–1970-е годы оставался зависимым от евроцентристских взглядов, гегемонистичных тогда среди теоретиков модернизации. По его словам, “нигде, кроме Западной Европы и США, мы не сталкиваемся с ситуацией, подобной этим обществам, где образец первичной модернизации характеризовался тем, что вторичные элиты — носители современного общества — были наиболее активными в экономической и культурной сферах. Добавлю — и это также очень важно — что более широкие социальные группы и слои определенным образом были открыты этим модернизационным влияниям и тенденциям в экономической и идеологической сферах и постепенно втягивались как в возникающую более широкую экономическую и культурную систему координат, так и в орбиту новых центральных политических институтов” [Eisenstadt, 1966: p. 157]. Постепенное преодоление европоцентризма в мышлении Эйзенштадта начинается только во второй половине 1980-х годов, о чем свидетельствует двухтомник “Образцы модерна” под его редакцией (1987 года издания), который, признавая Запад местом рождения модерна, одновременно делает акцент на выборочной инкорпорации обществами Остальных импульсов западного модерна — инкорпорации, ставшей причиной кристаллизации новых социальных форм, обусловленных их цивилизационным наследием.

Американский исторический социолог государственноцентристского направления Ч.Тилли в своей рецензии на книгу Эйзенштадта “Революция и трансформация общества: Сравнительное исследование цивилизаций” [Tilly, 1979: p. 412] образно сравнил теоретизирование израильского ученого с игрушкой, которой американский исследователь забавлялся в детстве. Это был макет домика, внутрь которого нужно было забросить каменный шарик, который потом целехоньким вылетал наружу после своего путешествия внутри устройства. По точной оценке Тилли, концепции Эйзенштадта являются сложной конструкцией, которая, впрочем, остается без изменений несмотря на всю утонченность рассуждений и аргументов израильского ученого. Вне всякого сомнения, экспликация основополагающих допущений Эйзенштадтовой сравнительно-исторической социологии модернизации подтверждает ошибочность однозначности вывода Тилли. Несмотря на излишнюю сложность, формальность и абстрактность своего дискурса,

Эйзенштадт в течение большей части своей интеллектуальной карьеры был одним из немногочисленных мыслителей, которые могли претендовать на статус классиков при жизни. Более того, интеллектуальная активность и креативность Эйзенштадта с возрастом даже увеличивались. Он сумел вырваться из оков стереотипов исследовательской программы модернизации и сконструировать новую теорию, которая потенциально может конституировать третью, многомерную, фазу дискурса о модернизации — фазу, преодолевающую ограничения евроцентризма своих предшественников. Сравнение Эйзенштадта с Хантингтоном — безусловно самым оригинальным и наиболее самостоятельным мыслителем в созвездии теоретиков модернизации — делает наглядным всю революционность теоретических новаций израильского мыслителя. Если Хантингтон колебался между конфликтными императивами первой и второй фаз исследовательской программы модернизации, то есть был интеллектуально погружен в дискурс 1960–1980-х годов со всеми его достижениями и ограничениями, Эйзенштадт конструировал аналитический инструментарий для теоретиков XXI века.

Но прежде чем перейти к экспликации и оценке вклада Эйзенштадта в социологическое теоретизирование настоящего и будущего времени, необходимо идентифицировать те черты дискурса о модерне и развитии, которые существенно влияют на стиль мышления ученых, погруженных в эту проблематику.

Эволюция социологической теории послевоенных десятилетий в целом и социологии развития и модернизации в частности показала, что в академической среде наряду с сугубо научным разделением труда (концентрация на определенных проблемах и / или регионах мира) существует также “разделение” труда, базирующееся на идеологических размежеваниях. Ученые, которые защищают парадигму — в самом широком понимании этого термина — либерального капитализма, обычно демонстрируют евроцентристскую позицию, ведь для них Запад был и остается источником привлекательных идей и общественных практик (непревзойденная степень общественного динамизма, дифференциации, автономии индивида и свободы), которые должны воспроизводиться Остальными. Наиболее ярким примером такой ориентации выступает исследовательская программа модернизации, особенно ее первая, оптимистическая, фаза [Кутуев, 2005: с. 66–98]. В то же время ученые, выражающие левые взгляды, — опять-таки в широком смысле, то есть левая идеология, не отождествляемая с марксизмом, — поддерживают те или иные варианты антиевроцентризма, подчеркивая центральность динамики целого, то есть эволюцию всего мирового сообщества, и отказывают Западу в легитимности его претензий на исключительность, учитывая партикуляристский характер его достижений. Так, в свое время А.Г.Франк указывал на универсализм рабочего движения стран Латинской Америки и на эгоистический партикуляризм правящих кругов США. Вместе с тем десакрализация Запада зачастую приводит к сакрализации Востока, заменяя тем самым один уклон другим (теоретизирования А.Г.Франка — показательный образец того, как инвектива в адрес Запада перерастает в энкомий Востоку, в частности Китаю [Кутуев, 2006]). Иначе говоря, постигая социальный мир, ученые неосознанно воспринимают Запад и Восток как самостоятельные субстанции, которые не пребывают в состоянии взаимопроникновения.

Антиномии социологического теоретизирования в отношении источников и природы модерна влияют на социологические концепции среднего уровня, а через них и с их поддержкой — на общественный дискурс и политику. Так, глубоко укорененное среди постсоветских исследователей убеждение в существовании двух типов модернизации — органической (своей Западу) и неорганической / догоняющей (этот тип развития присущ, в частности, России) (см., напр.: [Зарубина, 1998]) — имеет глубинные коннотации, выходящие за рамки сугубо интеллектуального поля и влияющие на важные вопросы культурной и экономической политики. Например, О.Забужко в своей интерпретации творчества Леси Украинки делает ударение на принадлежности этой писательницы к украинской казацкой традиции, которая, в свою очередь, была органичной частью западноевропейского рыцарства с его этосом служения и индивидуального достоинства. Характерный для украинской интеллигенции органический этос укорененности в аристократической традиции резко противопоставляется искусственности, оторванности от корней при одновременном отсутствии автономного морального и правового сознания интеллигенции российской. Иными словами, под углом зрения сконструированной О.Забужко культурной истории западноевропейский тип развития представляется как естественный / органический, тогда как восточный оценивается преимущественно негативно (поэтому логично, что приобщение России к восточной традиции автоматически обесценивает ее цивилизационную значимость) [Забужко, 2007]. В свою очередь, Дж.Арриги в книге “Адам Смит в Пекине”, взяв за основу осуществленную тем реинтерпретацию Смитового трактата “Богатство народов”, также выделяет два типа развития, в данном случае экономического, аналогичным образом используя понятия естественного и неестественного. Нельзя обойти вниманием и то, что мир-системный теоретик Арриги, воспроизводя аргументацию европейского мыслителя, А.Смита, полностью отрекается от преимущественно европейского фокуса своего трактата “Долгий XX век”. Впрочем, Арриги всегда демонстрировал склонность к востокоцентричной позиции, о чем свидетельствуют последние страницы названного исследования, где обсуждаются факторы подъема Японии. Аргументация А.Г.Франка в его последней книге “ПереОРИЕНТация” послужила дополнительным стимулом для укрепления позиции Арриги касательно сдвига гегемонии: от США — к Восточной Азии. Поэтому не удивительно, что в своей книге, ставшей также последней при его жизни, Арриги называет носителем естественного развития Китай, тогда как европейская страна Нидерланды идеально типично воплощает неестественный тип развития (см.: [Кутуев, 2011]).

Сейчас речь идет не о выяснении корректности или ошибочности содержательной аргументации философии / социологии культуры Забужко и исторической социологии Арриги — оба автора предлагают фактологически богатые нарративы с множеством оригинальных и продуктивных инсайтов. Мы воспользовались работами этих мыслителей как примерами контроверзийных подходов к постижению роли Востока и Запада в истории человечества и тенденции считать только один из этих полюсов образцовым.

То есть вопрос истоков модерна — были они сугубо западноевропейскими либо имели универсальный характер — не может восприниматься как чисто “схоластический”, поскольку имеет практическую значимость, осо-

бенно в контексте украинских политических дебатов, в ходе которых ментальные стереотипы “европейского выбора”, который противопоставляется “азиатчине”, стали весьма распространенными. Один из соавторов в свое время подверг критике данный стиль мышления в своих размышлениях над текстом О.Пахлевской [Кутуев, 2011]. На фоне распространенности антиномичного стиля теоретизирования, направленного на интеллектуальное уничтожение идеологического “другого” (стиля мышления, который дополняется конфликтными политическими действиями, нередко мотивированными несовместимыми видениями модерна), немногочисленные попытки синтеза заслуживают особого внимания и поощрения.

Разработанная Эйзенштадтом идея многочисленных модернов, то есть модернов как плюралистического феномена глобального масштаба, на который не имеет монополии ни один социум / цивилизация, предлагает средства преодоления ограниченности и одномерности стереотипизированного и конфликтного дискурса, доминируемого идеологией в ее ипостаси искажения реальности [Кутуев, 2003].

Публичная сфера и демократия традиционно рассматривались теоретиками модерна как феномены, которые, во-первых, присущи истории развития (*developmental history*) Запада; во-вторых, далеко не всегда релевантны потребностям Остальных. Наиболее четко эту позицию выражал С.Хантингтон, утверждая в вульгарно-веберовском духе: “Были бы США той страной, которой они были и преимущественно остаются сегодня, если бы их заселили в XVII и XVIII веках не британские протестанты, а французские, испанские или португальские католики? Очевидно, что ответ может быть только отрицательным. Это уже были бы не США, а Квебек, Мексика или Бразилия” (цит. по: [Кутуев, 2005: с. 99]). Критическое привлечение идеи многочисленных модернов создает предпосылки для более многомерного теоретизирования украинских исследователей о модерне и его компонентах. Это также позволяет отказаться от дискурса, колеблющегося в континууме, очерченном выраженными крайностями: антизападные инвективы нативистского толка *versus* некритический, а порой бездумно апологетический, евроцентризм.

Следовательно, экспликация теоретизирования Эйзенштадта о динамике публичной сферы и демократии в контексте идеи многочисленных модернов будет способствовать переформулировке социологического теоретизирования о модерне на принципах, избегающих ловушки этноцентризма любого сорта. В этом контексте стоит отметить аргументированный одним из соавторов взгляд на модерн как центральную проблему нынешнего социологического теоретизирования [Кутуев, 2011: с. 196–222].

Обращение к теме антиномий касательно истоков и природы модерна (чем является этот феномен — чем-то гомогенным или плюралистическим?; имеет ли он однозначную географическую привязку или сформировался как результат взаимодействия разных обществ / цивилизаций?) затрагивает иной важный вопрос: является ли модерн результатом сугубо структурной динамики экономических и политических факторов или также основывается на специфической культурной программе, которая собственно и очертила его своеобразие. Парадоксально, но отказ от евроцентристского толкования модерна делает возможными интеллектуальную ревитализацию и идеологическую реабилитацию этого понятия. Хотим привлечь внимание к характерному названию исследования Тириакияна “Модерниза-

ция: *Exhumetur in Pace*” [Tiryakian, 1991], ставшему ответом на призыв Валлерстайна похоронить теорию модернизации. К сожалению, защитники исследовательской программы модернизации — особенно это касается отечественных ученых — нечасто включаются в осмысленный диалог / полемику со своими оппонентами левого направления и пренебрегают их аргументами, придавая дополнительную убедительность отождествлению теории модернизации с идеологией, то есть инструментом легитимации господства и маскировки реальности, каковой является столкновение ядра и периферии.

Ключевым компонентом идеи многочисленных модернов служит тезис о первичности европейского модерна — в формулировке Эйзенштадта и его соавтора немецкого социолога В.Шлюхтера; вместе с тем эти ученые постулируют, что дальнейшие перипетии модерна нужно постигать не как его диффузию, а как возникновение нескольких современных цивилизаций, каждая из которых имела собственную динамику. По мнению Эйзенштадта и Шлюхтера, “в структурных терминах модернность включала такие измерения, как дифференциация, урбанизация, индустриализация и система коммуникаций... ; с институциональной точки зрения, к этим измерениям относилось национальное государство и рациональная капиталистическая экономика; с точки зрения культурной, они сделали возможным создание новых коллективных идентичностей, связанных с национальным государством, но при этом укорененных в культурной программе, содержавшей разнообразные способы структурирования основных плоскостей общественной жизни” [Eisenstadt, Schluchter, 1998: p. 3]. Несмотря на ревизию, а то и реконструкцию своих прежних европоцентристских взглядов, даже такая позиция авторов идеи многочисленных модернов не может удовлетворить более радикальное крыло этой парадигмы, представителем которого является С.Субрахманьям. Для этого индийского исследователя, работающего в США, формирование модерна было не региональным феноменом, содержание которого отражает формула “Подъем Запада” (среди бесчисленных рассуждений в терминах “Западного чуда” образцовыми по своей концептуальной строгости и лаконичности считаются комментарии Д.Норта и Д.Широ — (см.: [North, 1970; Chiot, 1985]), а глобальным процессом. Если формирование модерна было мировым феноменом, логичным выглядит вывод Субрахманьяма: распространенная среди ученых интерпретация навязанного Западом Остальным колониального правления как двигателя модернизации теряет свою авторитетность [Subrahmaniam, 1998]. В контексте идеи многочисленных модернов существование жесткой связи между культурными, структурными и институциональными основаниями модерна ставится под сомнение.

Таким образом, в плоскости этого подхода вполне логично развивать позицию Эйзенштадта и Шлюхтера о формировании модерна и интерпретировать этот процесс как набор контингентных изменений, которые не управляются единым *telos* и происходят в рамках автономных сфер общества, связанных друг с другом механизмом избирательного сродства. Использование этой Веберовой концепции-метафоры позволяет избежать ловушек редукционизма и монокаузальности. При таких обстоятельствах легитимно толковать и модерн как игру, течение которой подвержено влиянию неожиданных факторов (детальнее о роли таких “непредсказуемых” и “мутных” измерений модерна, как раса, этничность, религия и национализм, см.: [Tiryakian, 1997]). Соответственно становится очевидной бесперспектив-

ность восприятия феномена модерна в “Платоновой” манере, то есть как неизменного абсолюта, имеющего, к тому же, территориальную принадлежность к Западу. И такой взгляд на модерн как на жестко фиксированный набор свойств весьма распространен среди исследователей — как отечественных, так и зарубежных. Скажем, Ф.Шмидт, современный социолог немецкого происхождения, который работает в Сингапуре, пытается толковать взгляды Эйзенштадта на цивилизационно обособленные образцы модернов, отстаивая традиционный взгляд на единый универсальный модерн, укоренившийся в общественной динамике Запада [Schmidt, 2010; Schmidt, 2011]. Отечественные авторы также нередко усматривают секрет динамизма Азиатских тигров в том, что они послушно придерживались предписаний западной модели развития, а именно принципов либерализма (критику этих взглядов см.: [Кутуев, 2011]).

Подобно Дж.Арриги, который анализировал взаимодействие между восточноазиатскими обществами, функционировавшими в рамках единой мир-экономики, как фактор, значимость которого равнялась влиянию Запада на капиталистическую динамику Востока, так и теоретики многочисленных модернов указывают на недооценку исследователями — и даже жителями стран Остальных — взаимодействия, скажем, Японии с другими азиатскими социумами на развитие Страны Восходящего Солнца. Но сторонники идеи многочисленных модернов не ограничиваются расширением пространства модерна — они также продолжают его историю. Так, С.Субрахманьям считает, что ранний модерн охватывает период с середины XIV до XVIII века, который следует рассматривать как глобальный сдвиг, имевший разнообразные истоки, а значит — и разное значение (отсюда вытекает его требование отделить “модерн” от траектории европейского развития, истоки которой усматриваются в античности) [Subrahmanyam, 1997].

Активная публичная сфера и протест сыграли ключевую роль в формировании модерна, поэтому попытки избирательного обращения критиков постсоветских “цветных революций” или недавней “арабской весны” к политической истории Запада с целью легитимации политического развития чисто эволюционного толка (образцом тут служит политика чартистов в Великобритании) лишены эмпирической почвы. Практики социальных движений, в частности в Британии, не ограничивались мирной подачей петиций правительству, а нередко прибегали к активному протесту и насилию. Ч.Тилли приводит убедительные данные, иллюстрирующие высокий градус борьбы католиков за эмансипацию, в плане предоставления полного объема гражданских прав в якобы “эволюционной” Британии в течение 1780–1829 годов [Tilly, 1998].

Для Субрахманьяма Восток, в частности Индия, переживал процессы, подобные событиям, происходившим в Европе, а временами даже опережая Запад. Так, он убежден, что развитие раннемодерных империй предполагало процесс классификации и очерчивания отличий с целью либо их сохранения, либо реализации цивилизационной миссии акультурации. Эти черты в основном ассоциируются с европейским Просвещением, однако Субрахманьям настаивает, что они встречались и за пределами Европы (иногда даже раньше, чем в Европе). В свою очередь, Эйзенштадт сосредоточил свое внимание на европейском опыте, в рамках которого он усматривает тенденцию отхода от восприятия мира как регулируемого Богом (или другими метафизи-

зическими принципами, в частности логосом в античной Греции). В итоге зарождается традиция постигать мир — естественный и социальный — как состоящий из автономных сфер, каждая из которых имеет собственные законы, а эти законы познает человеческий разум [Eisenstadt, 1996: p. 27]. Следствием такой позиции оказалось перманентное расширение человеческой среды посредством сознательных действий индивидов. Установление господства человека над природой выходило за пределы сугубо технической и научной сферы, распространяясь и на социополитический порядок, который начали воспринимать как такой, что также может быть сконструирован; по точному выражению Эйзенштадта, общество стало предметом человеческой деятельности, направленной на его реконструкцию.

В данном контексте уместными представляются рассуждения американского политического философа — эмигранта из нацистской Германии — Л.Страуса, который много внимания уделил проблеме модерна и его кризису. Страус усматривает кризис модерна в кризисе мышления об обществе и политике, поскольку современная культура является откровенно рационалистической и верит в силу разума; понятно, что в случае утраты веры в способность разума обосновать высшие цели эта культура оказывается в кризисе. В конечном счете современный человек уже не знает, к чему именно он стремится, и не верит в возможность узнать, что именно является благом, а что злом. Страус также справедливо отрицал продуктивность рефлексии о модерне в терминах униформного проекта, поскольку нет ничего более характерного для модерна, нежели огромное разнообразие и частота радикальных изменений в его рамках. Согласно Страусу, модерн как интеллектуальный феномен, предшествующий своей институционализации, ассоциируется с фигурой Н.Макиавелли: именно этот мыслитель свел моральные и политические проблемы к вопросам техники. Рассматривая, в отличие от античной философии и христианства, добродетель и мораль как продукты общества, Макиавелли закладывает основы современного мышления о развитии и модернизации. Установление благого социального порядка избавляется от своей зависимости от случая, соответственно благое общество уже не является “воображаемым государством” античной философии или “Градом Божьим” христианства: случай можно подчинить, и гарантия успеха на этом пути заключается в сведении целей (редукции комплексности, как сказал бы Н.Луман) до уровня, совместимого с желаниями большинства индивидов. Современная эпоха в сфере мышления начинается с неудовлетворенностью существующим разрывом между действительным и должным и предлагает преодолевать его как сугубо техническую проблему секулярными, то есть социально-политическими, а не теологическими средствами. Соответственно радикально изменяется взгляд на природу человека: собственно эта природа концептуализируется как прошлое человека, которое не может дать никаких указаний о том, как строить свою дальнейшую жизнь: “Путеводные нити будущего, равно как и должного и желаемого, даются разумом. Разум идет на смену природе” [Strauss, 1975: p. 92].

Человеческую историю начали рассматривать как процесс осуществления человеческой автономии, эмансипации и универалистских ценностей разума, науки и технологии. Культурная программа модерна объединяла импульсы восстания (нередко с элементами утопического сознания), протеста и интеллектуального антиномизма, которые накладывались на ориен-

тацию касательно формирования центра и построения институтов. Иначе говоря, в культурной программе модерна совпали ценностная рациональность и целерациональность. Нельзя не заметить эволюции взглядов израильского социолога, который усматривает в развитии публичной сферы ключевую черту модерна (публичная сфера, по его мнению, находится между частной и официальной сферами и выполняет функцию пространства, в котором происходит определение общественного блага) и отбрасывает мнение о существовании публичной сферы только на Западе.

Изменение онтологических концепций привело к трансформации основных параметров политического порядка, а именно легитимации, подотчетности правителей и структуры центра и взаимоотношений вдоль линии “центр – периферия”. Эйзенштадт повторяет свою мысль, сформулированную еще в 1960-х годах, подтверждая важность автономных культурных и социетальных центров для формирования модерна. С.Субрахманьям, не отрицая важности культурной программы модерна для формирования его структурных и институциональных измерений, находит сходство между картинами мира западного христианства и ислама, основываясь на миллениаристской фиксации на возможном наступлении конца света, которую выражали как король Испании Филипп II, так и его современник, Могольский правитель Индии, Акбар в конце XVI века [Subrahmanyam, 1997: p. 747]. Единомышленники Эйзенштадта, такие как М.Э.Берри и Ф.Уокерман [Bergu, 1998]; [Wakerman, 1998], считают возможным применить концепцию публичной сферы для анализа общественной жизни Японии эпохи Токугава и Китая времен правления династий Мин и Цин.

Культурная программа модерна также предполагала смену восприятия феномена власти, которая из источника и регулятора инноваций превращается скорее в производную от ориентации на инновации. Еще одной важной трансформацией, обусловившей возникновение модерна, была легитимация протеста, ставшего центральным элементом современного политического дискурса. Как справедливо замечал Эйзенштадт, историческое значение казни английского короля Карла I заключалось не в убийстве монарха, а в институционализации механизма, сделавшего возможным превращение правителей в подотчетных лиц [Eisenstadt, 1998], параллельно вытесняя элиты, основанные на предписании, элитами, провозглашавшими принцип достижения (например, возрастание важности культурного капитала / образования для карьеры придворного в империи Габсбургов на рубеже XVI–XVII веков задокументировано в исследовании К.МакХарди [MacHardy, 1999]). Расширение круга социальных слоев, из которых рекрутировались элиты, а также конкуренция между элитами обусловили необходимость мобилизации ими политической поддержки в рамках открытых публичных арен, таким образом содействуя формированию политики, которая накапливала и обобщала политические интересы, требования и представления о всеобщем благе. Опять-таки, развитие в направлении к демократии ни в коем случае не было линейным. Согласно парадоксальному наблюдению Ч.Тилли, авторитарная централизация Франции, которой достиг Людовик XIV, была необходимой предпосылкой дальнейшей демократизации этой страны, ведь демократия — то есть относительно широкий, равный, защищенный голос общественности, имеющий обязательную силу, — невозможна без достижений централизаторского авторитаризма, неотъемлемыми чертами которого являются высокий

потенциал силы центрального аппарата государства; приоритетность государства в доступе к ресурсам, поддерживающим ее функционирование; нейтрализация автономных центров власти; использование согласия населения в качестве опоры в деятельности государства. Ч.Тилли усматривал подобный демократизационный потенциал в авторитарной политике В.Путина во время его первых двух президентских сроков [Тилли, 2007]. (С.Коткин предлагает своеобразный *follow up* рассуждений Тилли в своей более пессимистичной и реалистичной статье [Kotkin, 2015].)

Итак, экспликация и оценка теоретизирования Эйзенштадта по поводу модерна(ов) и публичной сферы дает основания для ряда выводов. Идея многочисленных модернов стала важным шагом в направлении к разработке многомерной, синтетической социологической исследовательской программы модерна. Эта программа должна иметь иммунитет против превращения теории модернизации и развития в “глобальную веру” (именно так определяет статус данного конструкта швейцарский ученый Ж.Рис [Rist, 2014]). Вместе с тем подобная парадигма модерна / модернов имеет потенциал отказаться от восприятия концепции модерна / модернизации как технократической инструкции для деятельности “мандаринов будущего” (этим термином охарактеризовал сторонников теории модернизации американский исследователь Н.Хилман).

В свою очередь, вопрос о месте происхождения публичной сферы, — а соответственно — и демократии, — все еще неразрешен в системе координат теоретизирования о многочисленных модернах: Эйзенштадт, Уитрок и Шлюхтер, настаивая на плюралистичности модерна, рассматривали европейский модерн как первичный, тогда как Субрахманьям тяготеет к мысли о том, что “ростки” модерна были равномерно распределены по Евразии, а значит, Европа окончательно лишается своей исключительности.

Понятие культурной программы модерна, предложенное Эйзенштадтом, вооружает исследователей адекватным инструментарием для интерпретации событий, давших старт развитию публичной сферы и демократии, таким образом дополняя структурный — государственноцентристский — детерминизм Тиллиевого толка, который сосредоточен на определении необходимых условий демократизации, культурным измерением.

Необходимо также понимать, что несмотря на возникновение и расцвет идеи многочисленных модернов продолжают существовать сторонники взгляда на модерн как на западный проект, чья универсальность является результатом его культурной партикулярности. Впрочем, идеи школы многочисленных модернов делают возможной полемику с евроцентристской интерпретацией феномена модерна, не отказываясь от этого понятия как такового. Так, в полемике, эксплицитно направленной на идеи Эйзенштадта, Ф.Шмидт акцентирует существование разных вариантов одного — западного — модерна [Schmidt, 2006].

Идея многочисленных модернов делает возможным новый взгляд на формирование модерна и социальных институтов, которые с ним ассоциируются. Исследования российских историков, в частности С.Нефедова, указывают на прогрессивность политико-административного строя восточных империй, например государства Османов, уже в XVII веке демонстрировавшего доминирование принципа достижения над принципом предпри-

сания, который в то время оставался господствующим в Западной Европе [Нефедов, 2002].

Таким образом, построения Эйзенштадта и его соратников формируют фундамент для создания новой концептуальной системы координат, в рамках которой становится возможной децентрация феномена модерна: он утрачивает свою укорененность в истории и географии западных обществ, а его формирование перестают рассматривать как тождественное с историей расцвета Запада.

### **Источники**

*Жиран Р.* Насилие и священное / Рене Жиран ; пер. с франц. Г. Дашевского. – Изд. 2-е, испр. – М. : Новое лит. обозрение, 2010. – 448 с.

*Забужко О.* Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій / Оксана Забужко. – К. : Факт, 2007. – 638 с.

*Зарубина Н.* Социально-культурные основы хозяйства и предпринимательства / Н.Н. Зарубина ; Ин-т “Открытое общество”. – М. : Магистр, 1998. – 360 с.

*Коротаев А.* Законы истории. Математическое моделирование развития Мир-Системы. Демография, экономика, культура / А.В. Коротаев, А.С. Малков, Д.А. Халтурина. – М. : УРСС, 2007. – 224 с.

*Кутуев П.В.* Адам Смит меняет прописку, или Бегство из капиталистической Европы в рыночную Азию [Электронный ресурс] / Павел Владимирович Кутуев // Газета 2000. – 2011. – Режим доступа : <http://2000.net.ua/is/1089/557-c2.pdf>.

*Кутуев П.В.* Геополітичні марення коштом тверезого аналізу: Розмисли над книгою О. Пахльовської “Ave, Eugora!” [Электронный ресурс] / Павло Володимирович Кутуев // Газета 2000. – 2011. – Режим доступа : <http://2000.net.ua/is/1073/549-c2.pdf>.

*Кутуев П.В.* Класична соціологія і сучасна соціальна теорія / Павло Володимирович Кутуев // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 1/2. – С. 68–87.

*Кутуев П.В.* Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм / Павло Володимирович Кутуев. – К. : Сталь, 2005. – 500 с.

*Кутуев П.В.* Смертельное оружие – 1: либерализм [Электронный ресурс] / Павел Владимирович Кутуев // Газета 2000. – 2011. – Режим доступа : <http://2000.net.ua/is/1091/558-f3.pdf>.

*Кутуев П.* Соціологічна теорія поміж Сходом і Заходом / Павло Володимирович Кутуев. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 376 с.

*Кутуев П.В.* Соціологія та ідеологія в соціологічному дискурсі: випадок Андре Гундера Франка / Павло Володимирович Кутуев // Наукові записки : зб. ; вип. 24. – К. : Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2003. – С. 146–158.

*Кутуев П.В.* Спільнота ритуалу модернізації: Від логосу до культу / Павло Володимирович Кутуев // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 3. – С. 106–127.

*Кутуев П.В.* Франкова переОРІЄНТАція: Засадничі припущення та імплікації для соціологічного теоретизування / Павло Володимирович Кутуев // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2006. – Т. 58. – С. 3–12.

*Нефедов С.А.* Реформы Ивана III и Ивана IV: османское влияние / С.А. Нефедов // Вопросы истории. – 2002. – № 11. – С. 30–53.

*Норт Д.К.* Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества / Норт Д.К., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. – М. : Изд-во Института Гайдара, 2011. – 480 с.

*Тилли Ч.* Государственное ресурсозвличение и демократия / Ч. Тилли // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2007. – № 4. – С. 38–49.

*Фисун А.* Демократия, неопатримониализм и глобальные трансформации / Александр Анатольевич Фисун ; Харьков. региональный филиал Нац. ин-та стратегических исследований . — Харків : Константа, 2006. — 351 с.

*Якубин О.Л.* Соціальні зміни поза державою: інститути та глобальна еволюція / О.Л. Якубін // Теорія соціальних змін: сучасні соціологічні концептуалізації : навч. посіб. / Якубін О.Л. ; за заг. ред. П.В. Кутуєва. — К., 2014. — С. 153–175.

*Alexander J.C.* Formal and Substantive Voluntarism in the Work of Talcott Parsons: A Theoretical and Ideological Reinterpretation / J.C. Alexander // American Sociological Review. — 1978. — Vol. 43, № 2. — P. 177–198.

*Alexander J.* On Choosing One's Intellectual Predecessors: The Reductionism of Camic's Treatment of Parsons and The Institutionalists / J. Alexander, G. Sciortino // Sociological Theory. — 1996. — № 14(2). — P. 154–171.

*Berry M.E.* Public Life in Authoritarian Japan / M.E. Berry // Daedalus. — 1998. — Vol. 127, № 3. — P. 133–165.

*Camic C.* Alexander's Antisociology / Charles Camic // Sociological Theory. — 1996. — № 14(2). — P. 172–186.

*Camic C.* Classical Sociological Theory as a Field of Research / Charles Camic // Reclaiming the Sociological Classics: The State of the Scholarship / Charles Camic. — 1997. — P. 1–10.

*Camic C.* Reputation and Predecessor Selection: Parsons and The Institutionalists / Charles Camic // American Sociological Review. — 1992. — № 57. — P. 421–445.

*Chirot D.* The Rise of the West / D. Chirot // American Sociological Review. — 1985. — Vol. 50, № 2. — P. 181–195.

Comparative Social Dynamics: Essays in Honor of S.N. Eisenstadt / ed. by E. Cohen, M. Lissak, U. Almagor. — Boulder ; London, 1985. — 409 p.

*Eisenstadt S.N.* Introduction: Paths to Early Modernities / S.N. Eisenstadt, W. Schluchter // Daedalus. — 1998. — Vol. 127, № 3. — P. 1–18.

*Eisenstadt S.N.* Modernization: Protest and Change / S.N. Eisenstadt. — Englewood Cliffs, 1966. — 166 p.

*Eisenstadt S.N.* Power, Trust and Meanin / S.N. Eisenstadt. — Chicago : University of Chicago Press, 1995. — 414 p.

*Eisenstadt S.N.* The Cultural Programme of Modernity and Democracy: Some Tensions and Problems / S.N. Eisenstadt // Culture, Modernity and Revolution: Essays in Honour of Zygmunt Bauman / ed. by R. Kilminster, I. Varcoe. — L. ; N.Y., 1996. — P. 25–41.

*Eisenstadt S.N.* The Paradox of Democratic Regimes: Fragility and Transformability / S.N. Eisenstadt // Sociological Theory. — 1998. — Vol. 16, № 3. — P. 211–238.

*Eisenstadt S.N.* The Political Systems of Empires: The Rise and Fall of the Historical Bureaucratic Societies / Eisenstadt S.N. — N.Y. : Free Press, 1963. — 524 p.

*Eisenstadt S.N.* Tradition, Change, and Modernity / Eisenstadt S.N. — N.Y. : John Wiley & Sons, 1973. — 367 с.

*Eisenstadt S.N.* Transformation of Social, Political and Cultural Orders in Modernization / S.N. Eisenstadt // American Sociological Review. — 1965. — Vol. 30, № 5. — P. 659–673.

European Journal of Social Theory. — 2011. — Vol. 14, № 1.

*Gould M.* The Structure of Social Action: At Least Sixty Years Ahead of Its Time / Mark Gould // Talcott Parsons: Theorist of Modernity / Mark Gould. — 1995. — P. 85–109.

*Gropas R.* Catching up and Objecting to Europe: Modernity and Discursive Topoi in Greece's Higher Education Reforms / Ruby Gropas, Anna Triandafyllidou, Hara Kouki // Journal of Modern Greek Studies. — 2013. — Vol. 31, Issue 1. — P. 29–52.

*Hamilton G.G.* Configurations in History: The Historical Sociology of S.N. Eisenstadt / G.G. Hamilton // Vision and Method in Historical Sociology / ed. by T. Skocpol. — Cambridge : Cambridge University Press, 1984. — P. 85–128.

*Kotkin S.* The Resistible Rise of Vladimir Putin: Russia's Nightmare Dressed Like a Daydream / S. Kotkin // Foreign Affairs. — 2015. — Vol. 94, № 2.

*MacHardy K.J.* Cultural Capital, Family Strategies and Noble Identity in Early Modern Habsburg Austria 1579–1620 / K.J. MacHardy // Past and Present. — 1999. — № 163. — P. 36–75.

*Mota A.* Eisenstadt, Brazil and the multiple modernities framework: Revisions and reconsiderations / Aurea Mota, Gerard Delanty // Journal of Classical Sociology. — 2015. — Vol. 15, № 1. — P. 39–57.

*North D.* An Economic Theory of the Growth of the Western World / D.C. North, R.P. Thomas // Economic History Review. — 1970. — Vol. 23, № 1. — P. 1–17.

*Rist G.* The History of Development: From Western Origins to Global Faith / Rist G. — L.: Zed Books, 2014. — 320 p.

*Schmidt V.* How Unique is East Asian Modernity? / V. Schmidt // Asian Journal of Social Sciences. — 2011. — Vol. 39, № 3. — P. 304–331.

*Schmidt V.* Modernity and diversity: reflections on the controversy between modernization theory and multiple modernists / V. Schmidt // SOCIAL SCIENCE INFORMATION. — 2010. — Vol. 49, № 4. — P. 511–538.

*Schmidt V.* Multiple modernities or varieties of modernity / V. Schmidt // Current Sociology. — 2006. — Vol. 54, № 1. — P. 77–97.

*Shils E.* Center and Periphery: Essays in Macrosociology / Shils E. — Chicago: Univ. of Chicago press, 1975. — 263 p.

*Strauss L.* Political Philosophy: Six Essays by Leo Strauss / Leo Strauss. — Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1975. — 250 p.

*Subrahmanyam S.* Connected Histories: Notes Towards a Reconfiguration of Early Modern Eurasia / S. Subrahmanyam // Modern Asian Studies. — 1997. — Vol. 31, № 3. — P. 735–762.

*Subrahmanyam S.* Hearing Voices: Vignettes of Early Modernity in South Asia, 1400–1750 / S. Subrahmanyam // Daedalus. — 1998. — Vol. 127, № 3.

*Tilly C.* Review of “Revolution and the Transformation of Societies: A Comparative Study of Civilizations” by S.N. Eisenstadt / C. Tilly // American Historical Review. — 1979. — Vol. 84, № 2. — P. 75–102.

*Tilly C.* Social Movements and (all sorts of) Other Political Interactions — Local, National, and International — Including Identities / C. Tilly // Theory and Society. — 1998. — Vol. 27, № 3. — P. 453–480.

*Tiryakian E.* Modernisation: Exhumer in Pace (Rethinking Macrosociology in the 1990s) / E. Tiryakian // International Sociology. — 1991. — Vol. 6, № 2. — P. 165–180.

*Tiryakian E.* The Wild Cards of Modernity / E. Tiryakian // Daedalus. — 1997. — Vol. 126, № 2. — P. 147–181.

*Wakeman Jr.F.* Boundaries of Public Sphere in Ming and Qing China / Jr.F. Wakeman // Daedalus. — 1998. — Vol. 127, № 3. — P. 167–189.